

Книга М. Бахтина антидогматична, как враждебен догматике главный герой его книги — смех. Эта книга важна прежде всего тем, что она освобождает читателя, — а мы не сомневаемся в том, что ее прочтут с большой пользой для себя не одни литературоведы, но и историки, — от ряда освященных традицией, но односторонних и просто неверных представлений о культуре средних веков и Возрождения. Подлинное открытие автора состоит в развертывании целого, по сути дела, неизведанного пласта культуры прошлого — народной смеховой, гротескно-карнавальной культуры. Автор не дает очерка последовательной истории этой культуры, «истории смеха» (по выражению Герцена); его задача иная — постановка «проблемы смеха» как принципиально важной культурно-исторической категории. Исследование М. Бахтина открывает новые перспективы перед историками средневековой культуры, и именно в таком аспекте оно нас сейчас интересует.

Тезис, развиваемый в книге, гласит: наряду с официальной церковно-догматической, неизменно «серьезной» культурой на протяжении всего средневековья существовала народная культура смеха, карнавала, корни которой уходят в первобытный строй и могут быть прослежены и в архаической и в классической древности. Стихия смеха охватывала основные представления народа, окрашивая в особые тона весь комплекс его представлений о мире, человеке, обществе. В определенные моменты народной жизни, в дни празднеств, этот народный карнавальный пласт культуры выходил на

первый план, приобретал господствующее положение: тогда наступало состояние свободы, равенства, исчезали социальные дистанции, все, вплоть до последних, самых серьезных и не подлежащих в обыденной жизни сомнению истин религиозного и официального плана, подвергалось осмеянию и профанации. В такие моменты на поверхность аскетической и исполненной страха и смирения идеологической жизни вырывались протуберанцы народного громового хохота. Но то были лишь краткие перебои в официальной средневековой жизни. Существенный и длительный прорыв народной смеховой традиции в культуру высшего общества, в литературу и искусство произошел только в эпоху Возрождения. Наиболее полно эта народная традиция заявила о себе в творчестве Рабле, чем и объясняется «радикальная народность» всех образов его романа и его особая «нелитературность» и «неофициальность».

Приведенный тезис очень интересен и во многих отношениях вполне, на наш взгляд, обоснован. В самом деле, неверно видеть в средневековой культуре одно лишь догматическое, церковно-религиозное начало. Односторонне понимание духовной жизни феодального общества, согласно которому все представления, идеи и этические ценности всегда и неизменно соотнесены с идеей божества и распределяются на две чисто полярные категории: добро, мыслимое как божественное благо, и зло, считающееся порождением дьявола; благодать божья и грех; рай и ад; мистический экстаз и грубое насилие; черное и белое. Жизнь средневекового общества была в действи-

тельности неизмеримо сложнее и противоречивее. Книга М. Бахтина по-новому освещает роль стихийного народно-карнавального начала в средневековой культуре.

Но здесь начинаются некоторые вопросы, сомнения и даже возражения.

Начнем с вопросов. Что такое народ, который был носителем смеховой культуры? При чтении книги невольно складывается представление, что автор имеет в виду только простолюдинов, крестьян, городских ремесленников, но не духовенство, не городской патрициат и тем более не дворянство. Нет сомнения, что простолюдины составляли основную массу народа. Однако разве лишь в их среде жила карнавально-смеховая традиция средневековья? Кому принадлежало авторство многих произведений смехового жанра? Если во время карнавала стирались все сословные различия, исчезало чувство социальной дистанции, то это оказывалось возможным потому, что в карнавале принимали участие как низы, так и верхи, как плебеи, так и знать. Именно поэтому с карнавалом было связано представление о «всенародности», соборности, о всеобщем равенстве, о безбрежной воле. Разумеется, источником и основным носителем этих идей и образов были широкие массы, но и господа не были им чужды.

Но если это так, то как понимать противоположность двух культур, о которых пишет М. Бахтин: официальной догматической и насквозь мрачной идеологизированной культуры, с ее «леденящей окаменелой серьезностью» (стр. 82), насаждаемой церковью, с одной стороны, и неофициальной смеховой народной культурой — с другой? Автор отмечает, что народная культура проры-

валась в официальную и церкви приходилось ее терпеть и в какой-то мере допускать. Наше сомнение в данном случае заключается, во-первых, в том, верно ли видеть в официальной культуре средневековья лишь комплекс представлений, пронизанных серьезностью, страхом, смирением («пугающее и напуганное мышление» — стр. 245), и считать ее культурой «агеластов», по своему существу чуждой тех элементов жизнерадостного начала, которое переливалось через край в народной культуре. Во-вторых, сомнение вызывает понимание самой народной культуры: возможно ли выделять в ней в качестве доминанты карнавально-смеховую стихию и освободить ее от моментов страха и религиозной серьезности?

Прежде всего полная противоположность культур двух классов средневекового общества вообще немислима, ибо если бы она существовала, то «мысли господствующего класса» никогда не стали бы «господствующими мыслями» и господа были бы лишены возможности держать в повиновении массы народа и влиять на их мировоззрение и настроения. Разумеется, М. Бахтин далек от такого упрощенного понимания духовной жизни средневековья, он отмечает, что в смеховом, гротескном жанре творили не только выходцы из горожан, но и клирики, что смех проникал «в самые высокие сферы религиозного мышления и культа» (стр. 17) и что произведения этого жанра пользовались успехом и в низах и в верхах. Но следовало бы более отчетливо указать на то, что официальный культ допускал и предполагал в достаточно широких размерах улыбку, шутку, смех. Вспомним искусство ортодоксального средневековья. Если Христос обычно

изображался либо в облике страдающего богочеловека, либо как грозный судья, обрекающий души грешников на адские муки и открывающий врата рая душам праведников, то богоматерь сплошь и рядом представляла перед взором прихожан с улыбкой на устах, в качестве доброй заступницы перед богом. Конечно, это не стихия смеха, но это и не страх или мрачность. Вряд ли можно видеть только противоположность культовых действий и дьяблерий, высокого мифа — и все осмеивающего фарса. Шутовство не стояло обязательно за пределами «официального» мира: не случайно шут был неотъемлемым действующим лицом придворного этикета. Что такое «пляски смерти», столь популярные в изобразительном искусстве средневековья, — страшное или смешное? Видимо, это карнавализация страшного. На наш взгляд, всей культуре средневековья в той или иной мере присуща двойственность, амбивалентность, которую М. Бахтин склонен видеть лишь в культуре народного смеха и карнавала.

С другой стороны, народная культура не была столь резко противоположна культуре «официальной» также и потому, что и сама эта народная культура не была только смеховой, а карнавал не заключался лишь в вольном смехе и веселье. Человеческое сознание на протяжении всего средневековья сплошь и рядом было одолеваемо страхами, массовыми психозами, конвульсивными экзистенциальными взрывами, охватывавшими целые области и слои населения. Ожидание «конца света», второго пришествия Христа — неискоренимая черта средневекового массового сознания. Историкам хорошо известна чрезвычайная неуравновешенность средневекового человека, обусловлен-

ная как противоречивостью его социального бытия, так и его отношением к природе, перед силами которой он был почти беззащитен. Мирощущение масс проявлялось не только в карнавальном хохоте, но и в глубокой религиозности, в массовых покаяниях, в поисках спасения участием в крестовых походах, в сектах бичующихся, наконец, в преследованиях ведьм. Что касается оппозиции официальной догме, то она выражалась в первую очередь в богословской ереси, подчас весьма далекой от смеха и жизнерадостности Франциска Ассизского.

У читателя может возникнуть мысль об абсолютном противопоставлении церковно-догматическому мировоззрению и поведению карнавального мироощущения как вольного, свободного от привычных норм и правил (впрочем, автор в отдельных случаях признает сосуществование обоих аспектов в сознании средневековых людей, — см. стр. 107). Но ведь и самый карнавал кажется нам вовсе не лишенным известной нормативности и, если угодно, игровой ритуальности. Поведение участников карнавала, верно, было максимально свободно от обыденной скованности, но и ход празднества, и употребляемые только во время него выражения и жесты, маски и поступки, и «площадная номинация» были даны его участникам традицией. Вся эта средневековая «сатурналия» неизбежно приобретала раз навсегда установленный порядок, самая вольность карнавала подчинялась своеобразному «ритуальному клише», закрепленному в поколениях и веках «сценарию». Дело в том, что средневековое общество было традиционным в своей основе. Всеобъемлющей традиции подчинялись даже наиболее неортодоксальные и враждебные официаль-

ности формы общественной жизни. Разительным примером тому могут служить еретические движения: возникшая в качестве протеста против засилья католической церкви и ее иерархии, еретические секты (например, катары) в своем дальнейшем развитии порождали из себя церковь и иерархию.

К этому нужно еще добавить, что карнавал вряд ли можно рассматривать, вслед за М. Бахтиным, только как перерыв в официальной общественной жизни, как прорыв в нее народной смеховой стихии. Мы склонны видеть в нем и другую сторону. Карнавал представлял собой часть общего «механизма» социального равновесия в средневековом обществе, которое основывалось на угнетении и неприкрытой несвободе большинства. Временное отрицание неравенства и социальных дистанций давало необходимую этому обществу разрядку, своеобразную социально-психологическую разгрузку, помогавшую после окончания карнавала переносить суровую реальность повседневной жизни феодального общества. «Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не пускать в них воздуха», — гласил цитируемый автором документ XV века (стр. 84). Социальные различия не могли быть забыты на время карнавала: видимо, особое удовольствие простолюдин получал от хлопанья по плечу или «телесному низу» именно знатного. Различия эти не забывались, они сознательно игнорировались, и наслаждение ощущением возможности преступить все границы обычно допустимого и составляло главный смысл карнавала. Смех был не только «критичен», как справедливо подчеркивает М. Бахтин, — он был направлен и на самого смеющегося (стр. 15),

давал разрядку, и в этом качестве он не был обязательно враждебен и опасен господствующим классам и их идеологии.

Высказанные выше вопросы и сомнения, как нам представляется, не противоречат основным линиям принятого в книге анализа народной культуры средних веков и Ренессанса, но эти мысли продиктованы опасением односторонней трактовки результатов чрезвычайно плодотворного труда М. Бахтина. Опасение такого рода небезосновательно, ибо наша литература все еще не избавилась от господствовавшего в ней долгое время превратного взгляда на средневековую культуру. Согласно этому взгляду, культура в феодальном обществе развивалась только вопреки церкви и религиозному мировоззрению, в борьбе с христианством, которое принудительно навязывалось народным массам. Этот совершенно антиисторический взгляд приводил к непониманию подлинного смысла культурного развития на протяжении целой исторической эпохи, когда единственной возможной формой мировоззрения была религия. Принимая такую до абсурда одностороннюю точку зрения, видели в схоластике только тормоз в развитии мысли, в литературе и искусстве средневековья и Возрождения — светское «содержание», пытающееся разорвать религиозную «внешнюю форму». Религия изображалась как отравя, преподносимая злокозненными попами «стихийно материалистически» настроенным массам.

Книга М. Бахтина помогает преодолеть этот ненаучный взгляд, который выдается за воинствующий материализм, но на самом деле бесконечно чужд марксистским принципам исследования культуры и религии и требованиям исторического подхода

к прошлому. Вместе с тем рецензируемая книга может дать повод для ошибочных толкований в силу отмеченной выше неясности трактовки понятия народной культуры средневековья и несколько искусственного противопоставления ее культуре официальной. Может быть, для более осторожного понимания этого, несомненно, реального различия следовало бы подчеркнуть, что смеховое начало народной культуры лежало на уровне *мироощущения*, общественной психологии, тогда как официальная культура фиксировала общественные идеи, идеологию, *мировоззрение*. Но обе эти сферы были тесно между собой связаны, переплетались, часто содержание из одной переходило в другую.

При оценке миросозерцательных основ смеховой культуры минувших эпох автор применяет понятие амбивалентности. Двойственность смеха средневековья подмечена М. Бахтиным необычайно верно. Смех убивает — и вместе с тем возрождает, он переводит «верх» в «низ», высокое делает низменным, идеальное приравнивает к материальному, грубо-телесному, профанирует священное, ставя его бок о бок с непристойным. Это свойство, указывает автор, не есть особенность творчества Рабле и вообще не нечто исключительное: подобная традиция присуща народной смеховой культуре с незапамятных времен. Собственно, лишь последние четыре века истории характеризуются иным, более дифференцированным и «измельченным» отношением к комическому. Образы «материально-телесного низа», гротескные, избыточествующие образы тела, в которых подчеркиваются эротические и родственные им моменты, в самом деле занимают видное место в народно-праздничной культуре средневековья, со-

ставляя в своей совокупности некую семиотическую систему (у М. Бахтина — «единый стиль»). Именно они выступают на первый план в романе Рабле и соответственно фигурируют в качестве центральных моментов в книге М. Бахтина. Чрево, детородные органы, испражнения, копуляции, непристойные жесты, площадная брань, а равно и пиршественные мотивы — важнейшие аксессуары того историко-культурного пласта, который исследуется нашим автором. Но остается неясным, в чем корни амбивалентности народной культуры.

Для того чтобы внести в этот вопрос ясность, следовало бы, как нам кажется, несколько переформулировать проблему. Это особенно важно потому, что, по сути дела, речь идет о центральной проблеме не только книги М. Бахтина, но и современного исследования истории культуры вообще — проблеме исторической изменчивости человеческого сознания, проблеме исторической психологии.

Как совершенно справедливо подчеркивает автор, история смеховой культуры минувших эпох сопряжена для нынешнего исследователя с той трудностью, что он невольно переносит в далекое прошлое современные представления и категории, воспринимает смех, ругательства, непристойности частично обессиленными, трактует их в том однозначно сниженном смысле, какой им придает наше время. В средние века эти категории обладали несравненно более емким содержанием, главное же — они имели мировоззренческий характер, впоследствии ими утраченный.

Именно в этой связи понятие амбивалентности приобретает принципиально важное значение при исследовании культуры средних веков. Перевод «верха» в «низ» находит свою аналогию в нерасчлененности пред-

ставлений о человеческом теле и космосе: они не мыслятся полностью дифференцированными, космос «отелеснивается» и, наоборот, тело принимает «космические» масштабы. Но сомнительно, чтобы эта тема «родового тела» отражала *«живое ощущение народом своего коллективного исторического бессмертия»* (стр. 351) и была связана с особым восприятием времени. Мы бы скорее поставили эти наблюдения в ряд с некоторыми другими чертами духовной структуры средних веков. Индивид в ту эпоху еще не осознает себя как вполне автономную личность и характеризуется не одними внутренними своими качествами, но прежде всего через принадлежность к корпорации, социальной группе людей такого же статуса. Средневековому человеку присущи пространственно-временные представления, существенно отличавшиеся от тех, которые начинают складываться в эпоху Возрождения (современный французский исследователь Ж. Ле Гофф противопоставляет «время купцов» «библейскому времени» средневековья). Понятие причинности содержало немало элементов мифологического («сопричастности», если применить выражение Леви-Брюля). Преобладал конкретно-образный тип сознания, неспособного к выработке точных абстракций и тяготеющего к художественно-религиозному освоению мира. Амбивалентность, двойственность представлений, неточность понятий, склонность к «удвоению мира», «телесность» и «космичность» — неотъемлемые черты сознания человека аграрного общества. Это признаки не вполне дифференцированного восприятия мира, обусловленного недифференцированностью самой человеческой практики. Ведь в средние века производство и религия, искусство и

миф, философия и религиозность, зрелище и культ, базис и надстройка еще не были отделены таким образом, как это присуще обществу нового времени. Разносторонность общественной деятельности человека, порождавшаяся этой неполной расчлененностью социальной жизни, незавершенным общественным разделением труда, неизбежно вела к амбивалентному отношению к миру. Отсюда — переходы от серьезного к смешному и обратно, двусмысленность и незавершенность телесного, непреодолимое стремление видеть во всем земном символ небесного, но одновременно — и создание «иного мира» по образу и подобию земного.

Конец средневековья, начало нового времени — эпоха ломки этого традиционного сознания, выработки новых представлений, перестройки основных категорий мышления (время, пространство, причина, закон, вселенная, личность). Рост городов и обмена, прогресс промышленности, изживание многовековой разобщенности и местной замкнутости, великие географические открытия, гелиоцентрическая теория Коперника, изобретение книгопечатания, кризис католицизма — таковы некоторые из фактов, способствовавших духовной революции и сопровождавших ее. В эпоху, предшествовавшую Возрождению, тип традиционного сознания с указанными выше специфическими чертами преобладал. Смеховая карнавальная культура средневековья — один из элементов этого сознания, и она может быть правильно понята, как нам кажется, только в таком, более широком контексте «модели мира». Таким образом, амбивалентность — неотъемлемая черта всего средневекового мироощущения и мировоззрения, а не только лишь одного его проявления, столь глубоко

изученного М. Бахтиным. Амбивалентность — социально-исторически обусловленное качество духовной жизни определенной эпохи.

Три десятилетия назад известный голландский ученый И. Хейзинга выдвинул концепцию происхождения культуры во всех ее проявлениях из игры. Игра — лишенное корыстных целей состязание, подчиняющееся добровольным ограничениям и правилам, — породила, по его убеждению, поэзию, музыку, философию, искусство, право, этикет и иные формы культуры, лишь постепенно утратившие свой изначальный игровой характер. Человек — творец культуры — это *homo ludens*, «человек играющий». Точка зрения оригинальная, интересно и по-новому освещающая ряд явлений в истории мировой культуры, но не объясняющая ее возникновение и развития. Читая книгу М. Бахтина, невольно возвращаешься мыслью к этой книге Хейзинги. Между ними существует некая «переключка» (см. в особенности рассуждения об игре на стр. 251—259 и 280). Но на сей раз перед нами *homo ridens*, «смеющийся человек». Его карнавальный, праздни-

ный смех пронизывает всю средневековую народную культуру, из него же родится и культура гуманизма эпохи Возрождения. Точка зрения, безусловно, плодотворная и очень много объясняющая нам в истории культуры средних веков; она обнажает народные истоки Ренессанса. При этом только не следует забывать, что автор сознательно выделил один определенный аспект реальности, в действительности более многосторонней и сложной. Этим ни в коей мере не умаляется значение исследования М. Бахтина. Выдвижение новой концепции в науке сплошь и рядом сопровождается акцентированием одной стороны проблемы. Лишь со временем, в результате последующих исследований, она будет органически включена в более широкое целое. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать: попытки по-прежнему смотреть на средневековье как на мрачную эпоху, для изображения которой предостаточно одной черной краски, как на время безграничного засилья фанатизма и церковной догматики, — более невозможны.

А. ГУРЕВИЧ

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СУДЬБЕ*

Когда в 1903 году посмертно был издан роман Сэмюэля Батлера «Путь всякой плоти», имя его автора было известно немногим. Правда, при жизни он опубликовал шестнадцать книг самого различного характера, однако ничего, кроме убытков и разочарования, они не принесли их создателю.

* Lee Holt, Samuel Butler, Twaine Publishers, N. Y. 1964, 130 p.

Но появление романа изменило литературную судьбу писателя. Английский исследователь В. Притчет назвал роман Батлера «бомбой замедленного действия», очистившей «духовные трущобы» викторианской Англии и взорвавшей «викторианскую семью, а с нею и все великое, украшенное столбами и балюстрадами сооружение викторианского романа». «Путь всякой плоти» был переведен почти на все европейские